

Роберт Луис ДЖЕКСОН

## В НЕСЧАСТЬЕ ЯСНЕЕТ ИСТИНА: КОНЦОВКА “КРОТКОЙ”

*Пусть каждый смертный в хрупкости людской  
Помыслит о своем последнем часе; и пусть никто  
Не говорит, что счастлив, до тех пор, пока у смертных врат  
Не скажет, что без боли прожил жизнь.*

Софокл. “Эдип-царь”

В предисловии к своему рассказу “Кроткая” Достоевский, рассуждая о внутреннем диалоге своего героя, пишет, что закладчик “оправдывает себя и обвиняет себя, и обвиняет ее, и пускается в посторонние разъяснения”. Но “мало-помалу он действительно уясняет себе дело и собирает “мысли в точку”. Ряд вызванных им воспоминаний неотразимо приводит его наконец к *правде*, правда неотразимо возвышает его ум и сердце. К концу <...> истина открывается несчастному довольно ясно и определительно, по крайней мере для него самого” (24; 5).

Как следует понимать эти слова Достоевского? <sup>1</sup>

“Уясняет себе дело” — да; “приводит... его в правде” — ну, да. Но что это за “правда”? И в каком смысле можно говорить о “возвышении ума и сердца” у закладчика? Что за “истина” открывается перед ним “довольно ясно и определительно”? И почему, наконец, Достоевский уточняет: “по крайней мере для него самого”?

Если в признании закладчиком своей ответственности есть “правда”, то она отмечена уточнениями и уклончивостью, характерными для его мировоззрения. В конечном итоге он винит Судьбу. Он признает истину сердцем, но не в силах признать ее умом — такая позиция характерна для многих героев Достоевского. Даль в своем “Толковом словаре” определяет истину как “противоположность лжи; все, что верно, подлинно, точно, справедливо, что есть”, добавляя в примечании: “Все, что *есть*, то *истина*; не одно ль и то же *есть* и *естина*, *истина*?” <sup>2</sup>. Если в видении мира трагедии, предстоящем

в конце концов перед закладчиком, есть “истина”, тогда эта истина, несомненно, далевское “все, что есть” и, конечно же, не религиозная истина, которую имеет в виду Достоевский, когда пишет по выходе с каторги: “В несчастье яснее истина” (28; 176). Это не истина Смешного человека, “что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле”, не его “старая истина”, что люди должны любить друг друга. Скорее это вошедшая в поговорку “горькая истина” — здесь истина собственной невозвратимой утраты закладчика, истина одинокой, лишенной любви и даже безжизненной земли. “Истина есть истина”, как говорит закладчик.

В “Кроткой”, несомненно, есть движение к общей истине, к истине, которая становится все яснее и яснее читателю; к истине любви, жертвы и прощения. Мысль, что в его жизни была возможность любви, но теперь она безвозвратно утрачена, осеняет закладчика после самоубийства его жены; в этой мысли — его мучительное страдание и отчаяние. Но именно любовь, живое переживание любви ускользает от него до самого конца. Другими словами можно сказать, что в своем внутреннем диалоге закладчик постоянно движется к осознанию истины любви — “Люди, любите друг друга”, — но он наталкивается на истину любви, не замечая этого. “Кто это сказал? чей это завет?” — спрашивает он. В своей слепоте он ярко противостоит Смешному человеку, который именно что видел истину (“я видел истину”). В конце своего повествования закладчик вспоминает процитированные выше слова о любви, но не может вспомнить, чей это завет.

Парадоксальная ситуация переживания и знания утраты любви (потерянный рай), но без переживания или познания присутствия любви в себе (именно это причина страданий закладчика и именно в этом состоит для него мировая трагедия) — определяет состояние рассудка закладчика непосредственно перед и сразу после самоубийства жены.

Со времени “поединка” с револьвером у кровати и своей предполагаемой “победы” над женой закладчик откладывал примирение с нею. “Решительно нравилась идея... об ее унижении”, “идея этого неравенства”. В виде наказания он совершенно изолирует жену. Он покупает железную кровать и ширмы. “Я велел поставить кровать в зале, а ширмами огородить ее. Это была кровать для нее” (24; 22).

Однако однажды он слышит, как его жена поет в одиночестве, поет жалобным голосом, “как будто голосок не мог справиться, как будто сама песенка была больная” (24; 27). Он узнает, что она часто поет вот так вот одна. Не сострадание, но эгоистический гнев овладевает им: “Забыла она про меня, что ли?” Неприятное и тревожное открытие закладчика вначале наполняет его удивлением и мстительными чувствами. “Мне дух захватывало. Падала, падала с глаз пелена! Коль запела при мне, так про меня позабыла, — вот что было ясно и страшно” (22; 27). Ужасно возбужденный, он отправляется на “Полицейский мост” (выбор моста с таким названием показывает, что вна-

чале закладчик в ярости). Однако по дороге на мост им внезапно овладевает “странный восторг” — восторг, отмечающий полное и абсолютное изменение его отношения к жене. Первая ее реакция на такую резкую перемену в муже — строгое удивление: “Так тебе еще любви? Любви? — как будто спросилось вдруг в этом удивлении”. В восторге и отчаянии он целует ее ноги “в упоении и счастье”. В неистовстве смятения и эгоизма он обнажает перед женой свои внутренние раны (“я ей все про меня <...> рассказал”) и доводит ее до “странного припадка истерики”, стыда, вины и страха. Однако закладчик безжалостен в своем восторге. “Не отвечай мне ничего, не замечай меня вовсе, и только дай из угла смотреть на тебя, обрати меня в свою вещь, в собачонку” (24; 28).

Вспоминая эти мгновения восторга, он признается: “О, я страшно утомил ее в тот вечер, и понимал это, но беспрерывно думал, что все сейчас же переделаю!” (24; 29). Конечно, нельзя “переделать” отношения так легко, словно склеить разбитую вазу. Однако закладчик понимает несчастья и неудачи человеческих взаимоотношений именно в терминах “случая”, “ошибки” и “внешних обстоятельств”. Он сам признает свою “ошибку” <...> “Вдруг сделал ошибку: я вдруг сделал ее моим другом” (24; 29-30).

“Ошибка” закладчика, конечно же, — это его собственное неизлечимое нравственно-психологическое уродство, его собственная неспособность любить. С чисто психологической точки зрения его новый восторг раба, как и прежний восторг деспота, представляет собой новую отчаянную попытку снова управлять своей женой через эмоциональное манипулирование; это — новая воля к власти, новое наслаждение “неравенством”. Его попытки “все сейчас” “переделать”, “переделать” их брак, неумолимо толкают ее к самоубийству. Сколько истины может вынести человеческий дух?

Охваченный отчаянием, загнанный в угол на суде своей совести, закладчик наконец приходит к правде. Он просто и ясно говорит: “Измучил я ее — вот что!” (24; 35). Эта строка является прелюдией к трем последним напряженным абзацам рассказа. В этом признании закладчика, что он, по сути, убил свою жену — подлинный и ужасный пафос отчаяния. И все же, как отмечалось в начале доклада, принятие закладчиком личной ответственности сопровождается оговорками. Даже признавая, что он мучил свою жену, закладчик пытается избежать всей тяжести вины. Оказываясь в созданном им самим в начале рассказа зале суда, закладчик кричит в неистовом бунте своим воображаемым судьям и присяжным: “Что мне теперь ваши законы? К чему мне теперь ваши обычаи, ваши нравы, ваша жизнь, ваше государство, ваша вера? Пусть судит меня ваш судья <...>” (24; 35). Закладчик не только отрицает светские власти, но переносит вину на законы вселенной, на законы природы: “Зачем мрачная косность разбила то, что всего дороже? Зачем же мне теперь ваши законы? Я отделяюсь” (24; 35). Здесь закладчик ясно раскрывает мировоззрение, лежащее в основе его оправданий, — мировоззрение, считающее, что вселенной

правит судьба и человека нельзя по-настоящему считать ответственным за его действия. “Это преступление судьбы, и что мне после того ваши законы”, — восклицает закладчик в одном из вариантов текста (24; 367).

Признание закладчиком “правды” и своей ответственности ограничено; однако его отчаяние безгранично. Впервые он сталкивается с трагедией своей жизни без самодовольных оправданий и пошлых обвинений. И все же, хотя он горько скорбит об утрате жены, его психология остается прежней.

“Не знаешь ты, каким бы раем оградил тебя, — говорит он, обращаясь к телу на карточных столах в коридоре. — Рай был у меня в душе, я бы насадил его кругом тебя!” (24; 35). Как следует понимать эти строки? Может, в душе закладчика и был рай, но раем не окружают человека, его нельзя насадить вокруг человека, рай — это не стена. Закладчик неслучайно использует слово “оградить, огородить” — именно этот глагол он употреблял раньше, когда говорил о своем решении изолировать жену после истории с револьвером: “Я велел поставить кровать и ширмами огородить ее”.

Обрисовав свое представление о рае или любви как огороженном, замкнутом пространстве, закладчик, словно сознавая наивную утопическую сущность своей мечты, добавляет: “Ну, ты бы меня не любила — и пусть, ну что же?” (24; 35). “И пусть, ну что же” закладчика открывает печальную истину — любовь никогда не была составной частью его отношений с женой. Утопическая любовь после грехопадения может быть только адом. Тем не менее закладчик продолжает излагать свои представления о взаимоотношениях с женой, пусть даже подвергшиеся изменениям: “Все и было бы *так*, все бы и оставалось *так*” — т. е. отношения оставались бы по-прежнему лишены любви, мертвыми, косными. Но было бы и различие: “Рассказывала бы только мне как другу, — вот бы и радовались, и смеялись радостно, глядя друг на друга в глаза. **Так** бы и жили” (24; 35). Это детское счастье (еще одна черта райских антиутопий, подмеченная Достоевским), эта фантастическая мечта о двух людях, лишенных любви, живущих как счастливые дети, безумна и пугающа. Закладчик снова словно бы признает ее нереальность, оставляя для себя лазейку: “И если бы и другого полюбила — ну, и пусть, пусть! Ты бы шла с ним и смеялась, а я бы смотрел с другой стороны улицы...” Здесь “рай” закладчика предстает перед читателем в истинном свете: обезображенный, страдающий и трагический мир “подполья”.

Закладчик может только грезить, горевать и отчаиваться в словах и образах отчуждения и отсутствия любви — легко узнаваемая пародия на его прежние отношения с женой. И все же этот язык и образность — при всей своей неуклюжести и наивности — передают невыносимое горе и страдание, трагедию и правду: правду безвозвратно потерянного рая. Эмоциональная опустошенность закладчика поднимает его рассуждения на уровень, который, по сути, неуязвим для той критики и анализа, которым они подверглись в данном докладе. Раскрывающаяся здесь истина, при всей своей гроте-

ской и обезображенной форме, состоит в том, что в закладчике есть страдающая человечность. “Последняя судьба, — как писал Шиллер, — возвышает человека в его глубочайшем падении”<sup>3</sup>.

“К концу даже тон рассказа изменяется”, — справедливо замечает Достоевский в предисловии. Закладчик внезапно перестает оправдываться. Его прежние почти что пошлые и наивные ссылки на “внешние обстоятельства”, “случай” и “ошибки”, которыми он пытался объяснить свое несчастье, теперь расширились до истинно трагической картины опустошенной вселенной. В этих строках можно говорить о “возвышении ума и сердца”. Теперь подготовлена почва для строк: “О, пусть все, только пусть бы она открыла хоть раз глаза! На одно мгновение, только на одно!” Но это не “мгновение” из Первого Послания к Коринфянам, 15:51-52 — “Когда все изменится вдруг во мгновение ока, при последней трубе... и мертвые воскреснут нетленными”. Здесь нет видения воскресения. Отчаяние закладчика выражается в ином видении, в иной истине — в истине одиночества, истине грехопадения, истине страдания, истине всеобъемлющей смерти и опустошения, в истине всего, что человечество пережило и переживает на земле. “Все, что *есть*, то *истина*; не одно *ль* и то же *есть* и *естина*, *истина*?”

“Косность! О, природа! Люди на земле одни — вот беда! “Есть ли в поле жив человек?” — кричит русский богатырь. Кричу и я, не богатырь, и никто не откликается. Говорят, солнце живет вселенную. Взойдет солнце и — посмотрите на него, разве оно не мертвец? Все мертво, и всюду мертвецы! Одни только люди, а кругом них молчание — вот земля! “Люди, любите друг друга” — кто это сказал? чей это завет? Стучит маятник бесчувственно, противно. Два часа ночи. Ботиночки ее стоят у кровати, точно ждут ее... Нет, серьезно, когда ее завтра унесут, что ж я буду?” (24; 35).

Закладчик вспоминает слова Христа, но он не может сосредоточиться на их истинном смысле, потому что он не может любить. И действительно, от вечного, вневременного завета он обращается к временному и конечному качанию маятника и к своим собственным эгоистическим заботам: “Нет, серьезно, когда ее завтра унесут, что же я буду?”

“Возвышение ума и сердца” в последних абзацах “Кроткой” — не возвышение христианской истины или христианского видения. Это скорее возвышение античной трагедии, трагическое видение, которое выковалось, как заметил один американский критик, в великом “горниле сомнений” Достоевского<sup>4</sup>. Перед нами драма, древняя, как греческая трагедия — человек вне вселенной, человек, кричащий в слепом отчуждении. Нам надо только вспомнить, что говорит Эдип о своей трагедии — “страдание в упреках совести и упреки совести в страданиях” — в конце софокловского “Эдипа-царя”:

Эдип

*Поток страданья*

*Памяти, не выколоть которой...*

*Аполлон, Аполлон. Милые  
Дети, то был бог Аполлон.  
Он навлек на меня мой злой, злой рок.  
Но рука, что ослепила меня, была моей.*

#### **Хор**

*О царь среди царей Эдип!  
Великие врата, что даровали свет,  
Поддались вечной ночи.*

Конечно же, Достоевский помещает драму рассказа “Кроткая” и драму его героини, кроткой, в рамки христианской трагедии. И все же именно тот факт, что закладчик не в силах проникнуться христианским видением, открывает врата для его трагического видения. “Свет во тьме светит, и тьма не объяла его”. “К концу <...> истина открывается несчастному довольно ясно и определительно, по крайней мере для него самого” (24; 5). Читателя ошеломляет не только истинное зрелище личной и мировой трагедии, но и тот, почти неразличимый, свет, который светит во тьме.

По этому поводу вспоминаются слова Достоевского из письма к Л.А.Ожигиной: “Вы думаете, я из таких людей, которые спасают сердца, разрешают души, отгоняют скорбь? Многие мне пишут — но я знаю *наверно*, что способен скорее вселить разочарование и отвращение. Я убаюкивать не мастер, хотя иногда брался за это. А ведь многим существам только и надо, чтоб их убаюкали” (30, I; 9).

И все же, и все же, своей поэзией страдания и утраты, своим пафосом и своей ужасающей образностью последние слова закладчика бросают вызов разочарованию и пессимизму. Поэзия страдания сама по себе спасительна и очищающа. И хотя мы снова погружаемся во тьму мелочного эгоизма в последней строке, мы пережили возвышение ума и сердца, которые коренным образом меняют наш взгляд на закладчика и его мир. Ведь закладчик — только крайний пример переживаний обычного человека. Вспоминаются слова Достоевского из его дневника: “Маша лежит на столе <...> Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой, — невозможно. Закон личности на земле связывает. Я препятствует” (20; 172)<sup>5</sup>. У закладчика “я” — очень препятствует.

Думается, что Достоевский вполне мог бы иметь в виду концовку “Кроткой”, когда — в строках, где соединяются христианская и аристотелевская поэтика — писал о том, как Толстой понимает последние дни и мгновения Анны Карениной:

“Сам судья человеческий должен знать о себе, что он не судья окончательный, что он грешник сам, что весы и мера в руках его будут нелепостью, *если* сам он, держа в руках меру и весы, не преклонится перед законом неразрешимой еще тайны и не прибегнет к единственному выходу — к Милосер-

дию и Любви <...> В этой картине — столько назидания для судьи человеческого, для держащего меру и вес, что, конечно, он воскликнет, в страхе и недоумении: “Нет, не всегда мне отомщение и не всегда аз воздам” — и не поставит бесчеловечно в вину мрачно павшему преступнику того, что он пренебрег указанным вековечно светом исхода и уже *сознательно* отверг его” (25; 202).

Перевод с английского Татьяны Бузиной

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

<sup>1</sup> Подробный анализ “Кроткой” см. в моей книге *The Art of Dostoevsky. Deliriums and Nocturnes.* (Princeton, N.Y., 1981). В данной статье я уделяю основное внимание концовке рассказа.

<sup>2</sup> **В.И. Даль.** “Толковый словарь”, М., 1881, (Репринт 1995), т. 2, с. 60.

<sup>3</sup> “...den Menschen adelte, den tiefstgesunkenen, das letzte Schicksal” (“Мария Стюарт”, акт V, сц. VI).

<sup>4</sup> **Murray Krieger.** *The Tragic Vision.* Chicago-London, 1966, p. 15.

<sup>5</sup> **Лайза Нэнси (Liza Knapp)** в своей книге *The Annihilation of Inertia. Dostoevsky and Metaphysics* (Evanston, Illinois, 1996) пишет о важности для концовки “Кроткой” этого отрывка из записных книжек Достоевского (см., в частности, pp. 37 — 43).